

Ольга Ильницкая

Тайный ход не скажу куда

Мне безразлично, что вы думаете по поводу Сережи Шерстюка. Мне не все равно, что вы о нем вспомните.

Я не была ему другом. Мы встречались трижды. Каждая встреча была единственной. Во время последней Сережа подарил фотографию – за его спиной вырастал одесский оперный театр. Прекрасный и разрушающийся. Вскидывалась пантера, и тень от лапы ее падала на Сережино плечо... Пантера замерла, тень продлилась и достигла Нескучного сада, где я брожу по тропинке, на которой стоял на коленях Сережа и кормил белку. Белка все еще кормится с ладошек бродящих по дорожкам, а Сережи больше нет.

Он сказал тогда – запоминай, сверху рыжая, подпушка серая. Никогда не крась волосы – станешь похожа на белку. Я не хочу, чтобы ты была похожа. Я не люблю вертлявых. Ты втируша, медленная, но внезапная. Это всегда настраивает против, потому что последний удар ты наносишь безошибочно. И это предугадывается и... пугает.

На фотографии Сережа написал в том числе и: «За свободу». Свобода начиналась справа от памятника Пушкину на Приморском бульваре. Это опять Одесса. Он говорил:

«Это вопрос достоинства – я не хочу быть понятым. Я предпочитаю память, а не понимание. Меня Одесса знает. И в Одессе есть кому – не забыть меня. Я сюда приезжал не к тебе.

Но ты пересекла все мои дороги трижды, и это неспроста. Говори, чего тебе надо, что хочешь узнать, увидеть, понять. Хочешь, подарю картину? Хочешь, тебя нарисую? Почему ты ничего не хочешь, женщины всегда хотят. Хотя разве ты женщина? В тебе



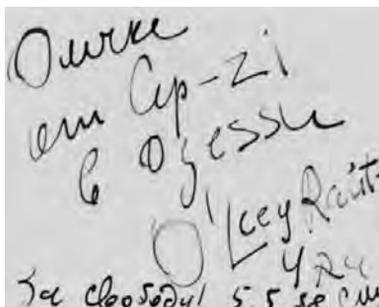
помещается город, и есть еще место – для чего ты так жадно заглатываешь жизнь, я не знаю, как с тобой разговаривать. Не загоняй меня в тупик.

Здесь у вас женщины ничего не хотят, меня не хотят. Зачем ты смотришь, как я топчусь и вязну сам у себя на зубах? Я ее видеть больше не могу. Не хочу. Не буду.

Возьмешь билет – на, держи, завтра уедем в Киев. От этой женщины уедем. Она меня с ума сводит. Я из-за нее много чего сделал. Но и не сделаю никогда не меньше...»

Когда шли по Андреевскому спуску, Сережа сказал, что рано или поздно восстановят Михайловский монастырь. И тогда мы сумеем заказать молебен за заблудшие души.

– У меня много заблудших душ за пазухой, – странно говорил Сережа. – И только ты душа свободная, без принуждения хотящая радоваться и быть счастливой. Я таких девчонок не видел отродясь. Наверное, ты мутантка. Они тебя никогда не полюбят.



И я тебя не полюблю – разве можно любить того, кто не имеет имени? Ольга – не имя. Свя-та-я. Разве можно так называть женщину? Хотя – какая ты женщина? Ты встреча, которая никогда не повторяется. Она всегда заново. Всегда сначала. И это ужасно, что смерть придет, и мы не узнаем, что уже все, никогда не будет опять и снова...

Это может быть и хорошо, потому что нет ее, мы есть, а смерти нет, и ты не бойся. Когда я умру, ты узнаешь и не удивишься, потому что я уйду первым.

Ты тайна, ты та дверь, в которую входят один раз и – никогда не выходят. И всякий раз надо входить заново.

Где ты бываешь, когда меня нет возле? Кто притрагивается к ручке на твоей двери, и что ты делаешь с ним, приоткрывающим, просачивающимся в твои комнаты, дворы, переходы, подвалы, кто и зачем свешивается с твоих балконов и зачем доходят до чердака... Куда им – выше... Чем они заканчивают, если никогда не выходят через ту дверь, в которую ты позволила войти. Почему ты приехала в Москву и ждешь меня на Страстном, я не мог тебя не почувствовать. Ну вот, я пришел. Куда теперь?

– Какого черта, – сказал Сережа милиционеру, – какого черта ты на нее смотришь? Пусть плавает, где хочет. А почему не в фонтане – такая жара...

Ну и что, что голая, она не голая, она обнаженная. И это прекрасно. И она хороша. Ольга, покажись этому мудаку. Да я не выражаюсь, я – выражаю. Идею. Женщина купается в фонтане. Мужчины смотрят и запоминают. Это их мужиками и делает. А ты что, денег за это хочешь? На, столько – достаточно?

Ольга, плыви к другому краю, я подойду.

И он подошел с платьем и букетом ромашек.

– Откуда, спрашиваю, ромашки?

...Долго шли по ботаническому саду. Отдыхали в кустах:

– О, я подзаборная, а ты толстый и довольный!

– Я – я толстый? Ты пощупай – где жир, это одесское восприятие, это у вас все толстые, ты посмотри, как я узок, – и Сережа погладил джинсы, будто крошки стряхнул. – Я голубой джинсовый парниша, у меня узлы на пальцах – как у тебя на платочке. О чем забыть боишься, зачем узелки – и он развязал два...

В первый узелок был завязан перстенок, он купил его для меня на Привозе, надел на палец, покрутил и сказал:

– Ничего, пока великоват, потом впору будет.

Во втором узелке лежала сережка. Оставшаяся. Первую мы с ним так и не нашли в траве. ...Тогда одуряюще пахла сирень, скатывавшаяся волнами в Днепр со склонов Киевского ботанического...

Мы всегда оказывались в ботаническом, и в Одессе, и в Киеве, и в Москве... Все ботанические сады были нашими.

Еще был Нескучный сад в Москве, и Городской сад, мимо него бежала Дерибасовская, на ней Сережа учил меня танцевать вальс-бостон:

– И раз-два-три, и раз-два-три...

Потом сказал, что не понимает разницы между вальсом и вальсом-бостоном.

Потом еще было... твист на ротонде в Горсаду, и шейковали в кафе «Молодежное», и Дерибасовская нас не отпускала, а потом обнаружили на Ланжероне – купались прямо в чем были – он заджинсованный, а я в платье выходном – и на нас как на сумасшедших смотрели.

Вечером грелись в «Оксамите Украины» сухим красным, и Сережа говорил, что глобализм победит не только в искусстве и что грядет кровь и великое молчание. И что:

– Твои мужья никогда не найдут общего языка, потому что у вас общие дети и жизнь общая, зачем еще что-то, общий язык нужен тем, кому есть что делить, а вам делить нечего. Не тебя же и детей. Ты научись спокойствию, остальное у тебя есть. А то, что будет, от тебя уже не зависит, будущее ты себе уже обеспечила признанием.

– Каким? – спросила оторопело.

– Дура, – мрачно сказал Шерстюк. – Это дорого стоит: «А я дыханье. И любовь. И вечный праздник».

– Сколько? – так же мрачно спросила.

Он выгреб из кармана деньги, высыпал мне в подол и, покрыв у виска пальцем, положил туда же свой паспорт.

Он был единственным мужчиной на свете, поднявшим меня на руках по 192 ступенькам Потемкинской лестницы не передохнув, и присел на ступеньки памятника Дюку, так и не выпустив меня из рук. Ему аплодировали.

И я не поцеловала его.

Еще я могу сказать, что кольцо и фотография лежат где ни попадя, потому что я люблю смотреть на них и трогать. Но я никогда ни с кем не говорила о Сереже. Я была его «Тайным ходом не скажу куда», и то, что я написала, – это подарок Сереже на его посмертное пятидесятилетие.

Живу спокойно

А началось знакомство с Сережей смешно... Я возвращалась со встречи с Юнной Мориц. Она отредактировала мою рукопись, и вот я купила бутылку сухого красного, сушеные бананы и на Страстном бульваре сидела на скамеечке с Володей Салимоном. Мы обмывали мою рукопись, потому что отредактировано было совсем ничего, но очень «по делу» – просто вычеркнуты некоторые строчки, просто зачеркнуты некоторые стихи. Ножницами что-то вырезано. И – несколько новых строчек предложено взамен... Это был здоровский результат. Я думаю, мне очень повезло. И я тогда гордилась этим. Собственно, я и сейчас так отношусь – с гордостью и благодарностью, меня многому Юнна Петровна научила.

Когда я решала, к кому из теток-Поэтов идти, я написала письмо Ахмадулиной, но не отправила его, и позвонила Мориц. Решила, что по моему характеру – идти надо к Юнне. Да и по ее характеру, как позже выяснилось. Ну, я тоже была тетка, мне уже 36 случилось...

Она спросила не без иронии, узнав, сколько мне лет:

– И много написали?

– 16 килограмм, – ответила.

Юнна Петровна велела взять 250 грамм и пойти к семи вечера. Но я потеряла адрес и – Лидия Графова мне помогла, дала телефон – я опоздала на полтора часа. Была в ужасе – жутко не люблю опаздывать. Да еще – к *Морицу!*

Ну, это другая история. Так вот, сидим мы с Салимоном, а у него еще свеженькая писательская ксива, он мне ее показывает, мы и ее обмываем. И тут прямо перед нами тормозит ментовский бобик. Времена сухого закона... Салимона – в машину. Мне тоже надо в машину, но, вроде бы, я им не очень нужна, милиционерам. И я на это обиделась. Даже ментам не нужна. В этой их Москве.

Подхожу я к водителю, засовываю голову в окошко и на ухо ему кой-чего говорю. Он хмыкает и... отпускает Володю. А мне в ответ:

– Ты уведи его, ну, вот там есть подворотня, а во дворе – столик для доминошников, так вы там и договорите, с глаз подальше!

И – уезжают.

– Ты что ему сказала?

А, отвечаю, потом как-нибудь расскажу.

Смотрю, а полбутылки еще есть, только пролилось чуть-чуть на правки юныморицевские, и стихи теперь «под градусом», и подпись ее размашистая – пьяная!

– Ладно, – говорит Салимон, – здесь недалеко Шерстюка мастерская, зайдём – расскажешь.

Заходим. Там, по-моему, два окна было. Не помню. И огромные картины – одна свежая, в работе, что-то коричнево-синее. А на мне платье, специально для «представительства» в одесской комиссионке купленное, чудное такое. Почти новенькое. Ну, мы знакомимся, ля-ля тополя, Салимон рассказывает, как я его из «бобика» ментовского вытащила, и они оба:

– Что ты ему сказала?!

А мне в лом...

И тут Сергей меня в моем платье всей мною – вписал в картину. Со спины. А потом развернул и – мордой лица – туда же.

Получилось что-то невообразимое – и на картине, и – вся я – сплошная такая «глобалистка» (он тогда глобалистом себя называл и все под таким углом рассматривал. Я от него о глобализме и узнала. А тогда об этом ничего почти и не говорили, ну, он

о глобализме в искусстве, а не о политике...). И получилось, словно меня из его шедевра вырезали.

Я таки уперлась, разозлилась, сказала – нечего меня теперь вытирать (это он меня тряпкой, вонючим растворителем пытался!), я теперь – произведение искусства, так и буду ходить по Москве.

Так весь день и проходила – коричнево-голубой. А ночевала я в его мастерской, он меня оставил и ушел.

Утром просыпаюсь, а он уже хлопчет, кофе готовит. На стуле лежит новое платье. Роскошное. И – билет на Одессу. На самолет. А моего «шедеврального» платья нет.

– Гад, – говорю вежливо и холодно, – мое платье где? Верни!

Отвечает:

– Увы, – я им тебя с картины смыл. Ты мне там не понравилась. Примерь лучше новое, и шевелись, кофеёчек готов!

Платье оказалось тютелька в тютельку.

– Это как же у тебя получилось?

А Сережа обиженно:

– Ты что, не понимаешь? У меня же глазомер! Я – профессионал!

Пьем кофе...

– Зачем мне улетать, – возмущаюсь, – я еще не все сделала в Москве.

– Вали, – говорит, – и поскорей. А то вообще никто ничего не сделает. Ни ты, ни я. И – чтобы я тебя вообще больше никогда, поняла?

– А почему?

– А потому, говорит, – что мне Одессы – выше крыши. Так что лети, Белка, и живи спокойно.

(Сережа меня или Ольгой, или Белкой называл.) И проводил он меня во Внуково, и рассказал мне три бочки арестантов – за жизнь свою, мою, и – нашу. Какой она теперь станет. И ведь правду сказал – жизнь стала такой. Нашей. Но об этом я уже раньше написала.

Осталась еще одна встреча...

Москва – Одесса